



ЧЕРНАЯ ЛУНА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

АВТОР

18+

Ульяна Соболева

Волчья метка.
Черная луна (Книга 2)

«Автор»

2026

Соболева У.

Волчья метка. Черная луна (Книга 2) / У. Соболева — «Автор», 2026

Он превратил мою жизнь в самый жуткий сон в самое пекло. Я жарилась живьем в углях его ненависти. Он перешел ту черту за которой любовь превращается в пепел. Но я все равно была полна этим пеплом жрала его давилась и плакала По нашему мальчику по нашей звериной отравленной любви. А потом Потом я попыталась выжить. Без него, без боли Наивная. И я не знаю что лучше любить жуткого зверя или осыпаться пеплом безумия, сгорая от лучей безжалостной черной луны. Можно ли простить собственную смерть?

© Соболева У., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Клетка	5
Глава 2. Приговор	9
Глава 3. Пять лун	14
Глава 4. Шкура	18
Глава 5. Рождение	22
Глава 6. Тень	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Ульяна Соболева

Волчья метка. Черная луна (Книга 2)

Глава 1. Клетка

Стены сужались. Или мне казалось - после ямы мне казалось все, и темнота моя, привычная и родная, стала чужой, враждебной, населенной призраками, которые шептали его голосом и трогали его руками, и я просыпалась с криком и вцеплялась в шкуру, в его шкуру, которую он бросил через щель на третий день, молча, как бросают кость собаке, и эта шкура пахла им, смолой и железом, и от этого запаха мне хотелось одновременно прижаться и задохнуться.

Логово было его тайным местом - охотничья нора в распадке между двумя скалами, скрытая от мира и от ветра, с одним входом и без окон, с очагом, который он разжигал для меня каждый вечер и гасил, уходя, как будто огонь был привилегией, которую нужно заслужить. Четыре шага в длину, три в ширину - я знала наизусть, как знала кухню, как знала яму, как знала все свои клетки, одну за другой, каждую меньше предыдущей, каждую темнее, каждую холоднее, хотя темнее и холоднее, казалось бы, некуда.

Волчонок внутри меня толкался.

Не как человеческий ребенок - мягко, осторожно, пяточкой или локотком, как рассказывала Марта про свои давнишние беременности, когда мир был другим и она была другой. Мой толкался так, как бьется зверь в клетке, - яростно, отчаянно, всем телом, и его крошечные когти, которых не должно быть у нерожденного, царапали меня изнутри, оставляя борозды на стенках живота, и я видела их пальцами - тонкие вздутия на натянутой коже, как следы, оставленные изнутри, как послание, нацарапанное на стене тюрьмы узником, который хочет выйти и не может.

Мой сын был зверем до рождения.

Его отцовская кровь бурлила в моих венах, чужая и горячая, и мое человеческое тело трещало по швам, не приспособленное к тому, что росло внутри, - слишком быстро, слишком жадно, слишком сильно. Пять месяцев вместо девяти, сказала Риана, и каждый день этих пяти месяцев был годом, и каждая ночь - десятилетием, и мое тело старело на глазах, изнашивалось, как ткань, натянутая на раму, которая оказалась слишком велика.

Ребра расходились. Я чувствовала это - медленный, тягучий хруст, как хрустит лед на реке перед тем как треснуть, и кости раздвигались, уступая место животу, который рос не по дням, а по часам, огромный на моем тонком, измученном, исхудавшем теле, как валун на тонкой ветке, которая гнется и трещит и вот-вот сломается. Кожа на животе натянулась до прозрачности - я трогала ее пальцами и чувствовала под ними очертания: лапка, коготь, мордочка, хвост. Мой сын был зверем, и его звериное тело рисовалось на моем человеческом животе, как рисунок на барабане, натянутом до звона.

Боль была постоянной. Не острой, не вспышками, а ровной, тянущей, как зубная боль, которая не проходит и к которой невозможно привыкнуть, хотя привыкаешь, потому что выбора нет, и я привыкла, и ходила с этой болью, как ходят с камнем в обуви, прихрамывая и стискивая зубы, и каждый шаг по логову - четыре шага в длину, три в ширину - отдавался в позвоночнике судорогой, и мои ноги подгибались, и я падала на колени и стояла так, обхватив живот руками, чувствуя, как волчонок ворочается внутри, недовольный, рвущийся, живой.

Живой. Его сын. Зверя, который бросил меня в яму, который молчал семь дней, который сказал "убрать", который смотрел ледяными глазами, пока Клык тащил меня по коридору за волосы. Зверя, который содрал обруч с мясом и выл на луну, чтобы я жила. Зверя, который

нес меня через горы на руках и грел своим телом. Зверя, чья рука лежала на моем сердце и чей стон в моем горле был самым честным звуком во вселенной.

Одного и того же зверя. Одни и те же руки - те, что гладили и те, что швырнули в яму. Одно и то же сердце - то, что стучало мне в спину каждую ночь, и то, что остановилось, когда он произнес "убрать". И его сын внутри меня, собранный из всего этого - из нежности и ярости, из поцелуев и побоев, из любви и ненависти, из крови и молока.

Мой волчонок. Моя боль. Моя единственная причина дышать.

Он приходил.

Каждый вечер. Я слышала его шаги за камнем, которым он завалил вход, - тяжелые, медленные, с паузами, как шаги человека, который идет туда, куда не хочет, но не может не идти. Скрежет камня - он отодвигал его одной рукой, потому что был сильнее камня, сильнее стен, сильнее всего на свете, кроме того, что росло между нами и что он не мог ни сломать, ни вырвать, ни раздавить, хотя пытался.

Запах. Его запах входил в логово раньше него - смола, железо, зверь, и мое тело реагировало прежде, чем голова разрешала, предательское, бессовестное тело, которое помнило его руки и его рот и его тяжесть, и от его запаха у меня сжималось внизу живота, и соски напрягались, и кожа покрывалась мурашками, и все это было унижительно и отвратительно, потому что он бросил меня в яму и морил голодом, и мое тело не имело права его хотеть, и мой волчонок не имел права толкаться радостнее, когда его отец был рядом, но толкался, проклятый маленький зверь, толкался и ворочался, и мой живот ходил ходуном, как будто внутри шла война между моей ненавистью и его кровью.

Он входил молча. Ставил на камень миску - горячее мясо, каша, иногда мед, который он добывал неизвестно где и который пах цветами и солнцем, которого я не видела. Ставил флягу с водой. Клал шкуру, если старая промокла. Делал все это молча, не глядя на меня, не подходя ближе, чем на три шага, как будто между нами была граница, невидимая и непересекаемая, и он стоял на своей стороне, а я на своей, и между нами лежало все, что произошло: яма, цепи, голод, молчание, "убрать", и его рука на моем сердце, и мое "нежно", и наш ковер, и наши цветы, и наша ночь в пещере, которая казалась сном, далеким и невозможным.

Однажды он принес мед. Не бросил через щель - поставил на камень, осторожно, и задержался на секунду дольше обычного, и его дыхание сбилось, и я почувствовала, как его взгляд скользнул по моему животу, огромному и натянутому, и по моему лицу, осунувшемуся и серому, и по моим рукам, обнимающим живот, и что-то в его запахе изменилось - кислота ярости отступила, и на ее место просочилось другое, горькое и тяжелое, похожее на запах мокрой золы после пожара, когда огонь уже сожрал все и осталось только пепелище.

Вина? Нет. Он не знал этого слова. Тогда что? Сожаление? Страх? Или то безымянное, что живет на дне каждого зверя, который загнал добычу в угол и стоит над ней, и понимает, что добыча - не добыча, а что-то другое, что-то, что он не хочет рвать, но не умеет отпустить.

Иногда я слышала, как он стоит за камнем после того, как уходил. Стоит и слушает. Мое дыхание. Мои стоны, когда волчонок толкался особенно яростно. Два сердцебиения - мое и его маленькое, быстрое, волчье. Стоит и слушает, и его дыхание по ту сторону камня было рваным и тяжелым, и иногда я слышала глухой удар - кулак о скалу, и крошка камня сыпалась, и его рык, тихий, давленный, похожий на скулеж раненого зверя, который прячется в нору илизывает раны.

Он страдал. Я слышала это в каждом его шаге, в каждом вздохе, в каждом ударе кулака о камень. Страдал - и не мог остановиться, не мог простить, не мог перешагнуть через кровь на губах, через тело Шарана, через все, что видел и во что поверил. И я страдала - на своей стороне границы, свернувшись вокруг живота, в котором бился его сын, и мое страдание было зеркалом его страдания, и мы были двумя зверями в соседних клетках, которые слышали друг друга, чуяли друг друга, но не могли коснуться.

Риана пробиралась тайком. Через расщелину в задней стене, слишком узкую для волка, но достаточную для маленькой старухи. Приносила травы - горькие, терпкие, от которых тошнило, но которые нужно было пить, потому что волчонок жрал мое тело изнутри, и без трав я бы не протянула до родов. Риана клала руки мне на живот и шептала на волчьем - те слова, которые я не понимала, но которые волчонок понимал, и от них затихал, и его когти переставали скрести, и он сворачивался клубком внутри, маленький и горячий, и засыпал, и я засыпала вместе с ним, впервые за день без боли.

- Он сильный, - говорила Риана, и ее голос был ровным и теплым, как угли в очаге. - Слишком сильный для тебя. Волчья кровь в человеческом теле - это как огонь в глиняном горшке. Горшок трескается. Но ты, девочка, - не горшок. Ты - камень. Тебя не бывший вожак плавил, не яма ломала, не голод точил. Ты выдержала все. Выдержишь и это.

- А если нет? - шептала я, и мой голос был хриплым и тонким, как голос старухи, хотя мне было восемнадцать, и моя молодость утекала из меня вместе с кровью и молоком и слезами, и от восемнадцати осталось только число, пустое и бессмысленное.

- Тогда я вытащу его из тебя, - говорила Риана спокойно. - И он будет жить. Даже если ты - нет.

Жесткая правда. Волчья правда - без утешений, без сладкой лжи, без "все будет хорошо". Ее правда была ножом, но нож был чистый, и рана от него заживала быстрее, чем от мягких, обволакивающих слов, которые ничего не значили и ничего не меняли.

Я лежала на шкуре и трогала живот. Мой волчонок спал. Его маленькое сердце стучало под моей ладонью - быстро, ровно, упрямо. Как мое. Как его.

Три сердца. Мое, волчонок и его - за камнем, за границей, за всем, что нас разделяло. Три сердца, стучащих в одном ритме, хотя два из них не знали об этом, а третье - маленькое, невинное - не знало ничего вообще, кроме темноты, тепла и материнского голоса, который пел ему колыбельные, тихо, чтобы не слышал зверь за камнем.

Я пела. Снова. Тихо, едва слышно, только для волчонок. Мамину мелодию, которая умерла в яме и которая воскресла здесь, в логове, в каменной клетке, где мне было больно и страшно и одиноко, но где внутри меня жил кто-то, ради кого стоило петь.

Пой, Птичка. Пока поешь - живешь.

Я пела, и волчонок затихал, и мои руки лежали на животе, и сквозь кожу я чувствовала его - маленького, горячего, свернувшегося клубком, с когтями, поджатыми к лапкам, с мордочкой, уткнувшейся в мою ладонь через стенку живота, как тыкался его отец - мордой в мои колени, носом в мою шею, лбом в мою грудь. Так же. Точно так же. И от этого сходства, от этого повторения, от этого маленького зверя, который был копией большого, - от этого хотелось кричать и смеяться и выть, и я делала все три одновременно, тихо, в шкуру, пахнущую им.

Дни сливались в одну серую, болезненную полосу. Утро, день, вечер, ночь - все одинаковое, все пропитанное болью и его запахом и ожиданием. Ожиданием чего? Родов? Смерти? Его прощения? Или момента, когда мне станет все равно - а он не наступал, сколько ни жди, и мое упрямое, бессовестное сердце отказывалось переставать стучать быстрее, когда скрежетал камень и его запах входил в логово.

Ненависть и любовь в одном теле. Как волчонок и человек в одном животе. Два несовместимых существа, которые каким-то чудом уживаются, и от этого соседства трещат кости и рвется кожа, и ты не знаешь, что родится - зверь или человек, ненависть или любовь, жизнь или смерть.

Ночью волчонок толкнулся так, что у меня перехватило дыхание.

Удар изнутри - в ребра, в диафрагму, и воздух вышибло из легких, и мир почернел (чернее моей темноты, если такое возможно), и я упала на бок, и мои руки скрючились на животе, и боль прошла от паха до горла, ослепительная и мокрая, и между ног стало горячо и липко, и я поняла: кровь.

Слишком рано. Слишком рано, слишком много крови, слишком сильный толчок, и мой волчонок ворочался внутри, не затихая, и его когти скребли, и его маленькое тело билось в моем, как в клетке, и он хотел наружу, хотел жить, хотел бежать, а мое тело держало его и не пускало, и от этого противостояния нас обоих разрывало.

Я не кричала. Не могла - горло перехватило, и звук застрял, и из моего рта выходил только хрип, тонкий и мокрый. Но он услышал. Через камень, через стены, через все, что разделяло нас, - он услышал, как мое сердце споткнулось и замедлилось, и волчонок внутри забился в панике.

Скрежет камня. Удар. Камень отлетел и врезался в противоположную стену, и холодный ночной воздух хлынул в логово, и его запах обрушился на меня, как лавина, и его шаги - быстрые, не те медленные и осторожные, с которыми он приходил каждый вечер, а рваные, панические, звериные.

Он стоял надо мной. Я чувствовала его жар сверху, его дыхание, частое и горячее, и его руки, которые не касались, висели по бокам, и его когти царапали собственные бедра, и он стоял и смотрел на меня, лежащую в крови, с огромным животом, в его шкуре, на каменном полу его логова.

И не прикасался.

Потому что прикоснуться - значит простить. А простить он не мог. Или не хотел. Или не умел - мой зверь, который не знал слова "нежно", пока я не научила, и не знал слова "прости", потому что некому было научить.

Его когти впивались в его собственные ладони. Я слышала - мокрый хруст, и запах его крови, горячей и густой. Он стоял надо мной, и его кровь капала на камень рядом с моей, и наши крови смешивались на полу логова, как смешивались в нашем сыне, и это было невыносимо, и прекрасно, и чудовищно, и я лежала и слушала, как он стоит и истекает кровью из ладоней, в которые вогнал собственные когти, потому что не мог прикоснуться ко мне и не мог уйти.

Мой зверь. Мое чудовище. Мой закат, который я видела однажды и потеряла.

Волчонок затих. Кровь между ног остановилась. Ложная тревога. На этот раз.

Он ушел. Молча. Камень встал на место. Скрежет. Тишина.

И его кровь на моем полу, рядом с моей. Смешанная. Неразделимая.

Как мы.

Глава 2. Приговор

Стая стояла полукругом, и от их тел шел жар, густой и кислый, пахнувший кровью и нетерпением, и тридцать пар глаз смотрели на меня, и в каждой паре горело одно и то же - ожидание, голодное и жадное, как ожидание волков, которым показали мясо и не дают вцепиться.

Они хотели ее крови.

Клык стоял первым - седой, прямой, со шрамом от уха до подбородка и с глазами, которые давно перестали прятать то, что прятали триста лет. Фенрир рядом - молодой, поджарый, с медными глазами, в которых горела та наглая, щенячья злоба, которая когда-нибудь стоит ему головы, но не сегодня, потому что сегодня его злоба была направлена не на меня, а на нее, и от этого направления мне было легче дышать и тяжелее думать.

- Вожак, - начал Клык. На нашем, уважительно, с поклоном, который был формой, а не содержанием, как пустой горшок, который выглядит целым, но внутри - ничего. - Стая ждет. Убийца Шарана жива. Стая требует правосудия. Кровь за кровь. Закон.

Закон. Волчий закон, вбитый в кости за тысячелетия, - кровь за кровь, клык за клык, жизнь за жизнь. Простой, как удар топором. Справедливый, как голод. Неоспоримый, как гравитация.

Я знал закон. Я был законом. Тысячу лет - был, и мои руки ломали кости тем, кто нарушал, и мои зубы рвали глотки тем, кто предавал, и ни разу, ни единого ебаного раза за тысячу лет я не задумывался, правильно это или нет, потому что закон не бывает правильным или неправильным, закон просто есть, как камень, как ветер, как смерть.

А теперь закон требовал ее.

- Она беременна, - сказал я. На нашем. Тихо, ровно, без рыка, без ярости - холодно, как сталь, которую достали из ледяной воды. - Мой щенок. В ней. Пока щенок внутри - никто ее не тронет.

Клык не моргнул. Старый ублюдок. Триста лет тренировки - его лицо было маской, гладкой и непроницаемой, за которой шевелились шестеренки, точные и беспощадные, как механизм ловушки.

- Когда родит? - спросил он.

- Скоро.

- Тогда - после. Родит, щенка заберем, ее - на суд стаи.

На суд стаи. Красивое слово для растерзания. Тридцать волков, один приговор, и от нее останутся клочья серебристых волос на красном камне.

Фенрир оскалился. Желтые зубы, медные глаза, и от него воняло предвкушением, и его тело вибрировало от сдерживаемой радости, и мне хотелось сломать ему челюсть - опять, в четвертый раз, потому что его рожа была из тех, которые хочется бить вечно, и ни один перелом не приносит удовлетворения.

- Когда скажу, - рыкнул я, и мой рык прокатился по двору, как обвал, и стая подалась назад, и Фенрир проглотил ухмылку, и даже Клык опустил глаза, на секунду, на долю секунды, но опустил, и этой доли хватило, чтобы все вспомнили: я - Вожак, и мое слово - закон, и пока мой рык вдавливают их в землю - пусть ждут, пусть скалятся, пусть шепчутся за углами, мне насрать.

Но мне было не насрать.

Мне было так далеко от "насрать", что расстояние это измерялось не километрами, а ночами - каждой ночью, когда я стоял за камнем, заваливающим вход в логово, и слушал ее дыхание, и стоны, и два сердцебиения, и мое тело горело и ныло, и между ног тяжелеело от желания, которое было сильнее ненависти, сильнее ярости, сильнее закона и крови на губах и всего, что я видел и во что поверил.

Я хотел ее. Посреди всего этого дерьма - посреди мертвого Шарана и стаи, жаждущей крови, и предательства, которому я поверил, и щенка в ее животе, и ее стонов от боли, от которых мне хотелось разнести горы, - посреди всего этого мое ебучее тело хотело ее, как хотело в первый день, когда я увидел ее голой на реке и чуть не сожрал собственный язык.

Ничего не изменилось. В этом была самая мерзкая, самая унижительная, самая невыносимая правда - ничего не изменилось. Кровь на губах, мертвый Шаран, яма, цепи, побег, охота, логово, камень у входа - ничего из этого не убило того, что жило в моем теле, в моих мышцах, в моей крови, когда я слышал ее запах через камень.

Ночами было хуже всего. Ночами, когда крепость спала и тишина была такой плотной, что я слышал ее дыхание за километры камня и леса, - ночами мое тело вспоминало все.

Ее кожу под моими пальцами - тонкую, горячую, с мурашками от моего дыхания. Ее бедра, разведенные, обхватывающие мои. Ее спину, выгнутую дугой, и позвонки, выступающие один за другим, как ступени лестницы, по которой я поднимался языком, и от каждой ступени она вздрагивала. Ее стон - низкий, задушенный, мокрый, когда я входил в нее и мир становился простым, как удар сердца. Ее руки на моем лице, на шраме, нежные и настойчивые, учащие тому, что я не умел и чему научился ради нее. Ее тело на моем - маленькое на огромном,двигающееся в ритме, от которого у меня выворачивало суставы и скулы сводило до хруста.

Все это жило в моих мышцах, в моей коже, в каждом нерве, который она зажала и который теперь горел вхолостую, без нее, без ее рук, без ее запаха, без ее "нежно", которое превращало мои каменные ладони в живые.

Лен. Трава. Мед. И молоко - новый запах, сладковатый, теплый, от которого сводило скулы и темнело в глазах. Запах кормящей самки, запах материнства, запах его ребенка в ее теле, и этот запах был отравой и лекарством одновременно, и я вдыхал его через щель в камне, как наркоман вдыхает дым, зная, что сдохнет, и не в силах остановиться.

Каждый вечер я шел к ней. Каждый вечер готовил - охотился, выбирал лучший кусок, жарил на огне, заворачивал в листья, чтобы сохранить тепло. Каждый вечер нес через лес, три часа по горной тропе, в темноте, с мясом в руках и с ненавистью к себе в глотке, горькой и удушающей. Каждый вечер отодвигал камень, входил, ставил миску, смотрел на нее - маленькую, с огромным животом, в моей шкуре, с серебристыми волосами, которые потускнели и свалились, и ее лицо, осунувшееся, серое, с черными кругами вокруг мертвых глаз.

Смотрел на нее и мое тело сжималось от желания, от боли, от того безымянного, что было сильнее обоих. Ее шея, тонкая, с моими старыми укусами, которые превратились в шрамы - серебристые полумесяцы, мои подписи, мои клейма, которые она носила на коже, как я носил шрам от обруча на запястье. Ее ключицы, острые, выступающие сильнее, чем раньше, потому что беременность высасывала из нее все, и мое мясо, которое я приносил каждый вечер, не успевало восполнить то, что забирал волчонок. Ее руки на животе - маленькие, с мозолями от станка, защищающие, обнимающие, и этот жест, материнский и древний, бил меня под ребра сильнее кулака.

Смотрел и уходил. Три шага туда, три обратно. Граница, которую я провел и которую не пересекал, потому что если пересеку - если коснусь ее, если мои пальцы лягут на ее щеку, если мой нос уткнется ей в шею, если мои зубы найдут то место на ключице, от которого она стонала и выгибалась, - если все это случится, я не смогу остановиться, и мои руки, которые научились слову "нежно", вспомнят другое, и ее тело, хрупкое и беременное и измученное, не выдержит, и я сломаю все окончательно, бесповоротно, навсегда.

Однажды я не ушел сразу. Стоял на границе трех шагов и смотрел, как она ест. Медленно, маленькими кусками, как ест зверь, которому долго не давали еды. Ее губы блестели от жира, и ее язык скользнул по нижней губе, собирая каплю, и от этого движения - простого, машинального, не для меня - мое тело среагировало мгновенно и яростно, и я стиснул зубы так, что во рту хрустнуло, и мои штаны стали тесными, и мне пришлось развернуться и уйти,

прежде чем она почуяла, прежде чем ее обостренное обоняние беременной уловило мое возбуждение, потому что это было бы последним унижением - стоять перед ней с каменным членом и каменным лицом и делать вид, что не хочу ее так, что кости трещат.

Я не мог ее трогать. Не мог ее не хотеть. И от этого противоречия мои кулаки каждую ночь превращали стены логова в щебень.

Рои нашел меня утром у разбитой стены. Стоял молча, смотрел на мои окровавленные руки, на камень, раскрошенный до основания, на выбоину в скале размером с человеческую голову. Молчал. Рои умел молчать, как немногие - не пустым молчанием трусов, а полным молчанием тех, кто видит и понимает и ждет, когда ты сам скажешь.

- Что? - рыкнул я.

- Ничего, Вожак. - Пауза. - Только ты несешь ей лучшее мясо. Каждый вечер. Три часа через лес. Для убийцы, которую стая хочет растерзать.

- И?

- И ты не спишь. И бьешь стены. И скулишь по ночам, когда думаешь, что никто не слышит. Я слышу, Вожак. Я живу через стену.

Я посмотрел на него. Молодой, черноволосый, с честными темными глазами, в которых не было ни расчета, ни хитрости, ни того змеиного блеска, который жил в глазах Клыка. Рои был верен не из выгоды, а из чего-то другого, чему на волчьем не было названия, а на человеческом называлось - преданность, и это слово было мягким и бесполезным, как все человеческое, но Рои наполнял его тяжестью камня.

- Она виновна, - сказал я. Вслух. Для себя, не для него. - Кровь на губах. Шаран мертв. Она...

- Ты веришь? - спросил Рои. Тихо. Просто. Как спрашивают время.

Тишина. Долгая, как горная тропа, по которой я каждый вечер нес ей мясо.

Верю ли я?

Мой мозг говорил: да. Кровь на губах. Тело рядом. Доказательства. Мертвые волчата. Белые пряди. Все сходится. Логика. Факты.

Мой волк говорил: нет. Не она. Не может быть она. Ее сердце под моей ладонью не врало. Ее руки лечили, а не убивали. Ее голос пел, а не проклинал. Не она.

А мое тело не говорило ничего. Мое тело просто хотело ее - с яростью, от которой крошились зубы, с голодом, от которого сводило живот, с тоской, от которой выли стены.

Рои молчал. Смотрел на меня своими честными глазами, в которых не было осуждения, только вопрос, тяжелый и точный, как нож хирурга.

- Шаран бы знал, - сказал Рои тихо. - Шаран бы посмотрел на нее и сказал: "ты ебанутый, она не убивала". Шаран видел людей, Вожак. Ты видишь врагов.

Шаран. Его имя ударило в солнечное сплетение, и я согнулся, и рык, который вырвался, был не рыком, а хрипом, и Рои отступил на шаг, не от страха, а от уважения к боли, которую нельзя трогать чужими руками.

- Не произноси его имя, - прорычал я. - Никогда.

Рои кивнул. И добавил, уже в спину, когда я уходил:

- Ты несешь ей мед, Вожак. Мед. Убийце брата не носят мед. Убийце брата носят нож.

Я не ответил. Потому что он был прав. И правота его была невыносимой.

Ушел. Вниз, к логову, по тропе, которую мои ноги выучили наизусть, каждый камень, каждый корень, каждый поворот. Три часа туда, три обратно, шесть часов в день на дорогу к женщине, которую я не мог простить и не мог бросить, которую стая хотела разорвать и которую я кормил лучшим мясом, завернутым в теплые листья.

Шесть часов в день. Каждый день. Уже третий месяц.

Если это не безумие, то я не знаю, что такое безумие.

У логова я остановился. Прислушался. Ее дыхание - ровное, глубокое. Спит. И маленькое сердцебиение рядом - быстрое, частое, волчье. Мой щенок. Мой сын. В ее теле, в ее крови, в ее тепле. Мой - и ее.

Я сел у камня. Не отодвигая. С этой стороны. Прислонился спиной к холодному граниту и закрыл глаза, и сквозь камень чувствовал ее тепло, слабое и далекое, как солнце сквозь тучи.

Мои руки помнили ее кожу. Мой рот помнил ее вкус. Мое тело помнило, как она двигалась на мне, маленькая на огромном, с серебристыми волосами, качающимися в ритме, который она задавала, в ритме ее сердца, и ее стон, когда волна накрывала, и ее пальцы в моих волосах, и ее шепот - "нежно" - от которого мое тело становилось чужим и податливым, и делало то, чего не умело, и чувствовало то, чего не знало.

Мои руки помнили. И хотели. И не могли.

Я ударил затылком о камень. Раз, другой. Боль - тупая, честная, простая. Не та, другая, от которой нет лекарства и которая живет в груди, как осколок, который нельзя достать.

- Грим, - ее голос из-за камня. Сонный, хриплый, надломленный. Она проснулась от удара. - Грим, ты там?

Я замер. Не дышал. Не двигался. Мое имя из ее рта было ножом, раскаленным, воткну-тым между ребер, провернутым.

- Уходи, - сказала она. Тихо. Устало. Без злости, без мольбы. - Или войди. Но не сиди за камнем. Не слушай. Не мучь себя. Не мучь меня. Либо здесь, либо там. Выбери.

Выбери. Она просила меня выбрать. Как будто выбор был возможен. Как будто между "здесь" и "там" не лежал мертвый Шаран с вскрытым горлом. Как будто ее губы не были в его крови. Как будто я мог войти и лечь рядом и положить руку на ее живот и чувствовать, как мой сын толкается, и все забыть, и все простить, и быть тем, кем был в ту ночь, когда она шептала "нежно" и мир был целым.

Не мог.

Встал. Ушел. Наверх, по тропе, в темноту, которая была ее домом и моим проклятием. Шел и слышал ее сердце за спиной - ровное, упрямое, надломленное.

И маленькое рядом - быстрое, невинное, не знающее.

Два сердца против моего. И ее голос, хриплый и сонный, который произнес "либо здесь, либо там, выбери", и от этого "выбери" меня выворачивало наизнанку, как выворачивает шкуру при обращении, только больнее, потому что обращение длится секунды, а это - месяцы, и конца не видно, и выбор невозможен, и я висел между "здесь" и "там", как повешенный между небом и землей, и веревка не рвалась, и шея не ломалась, и смерть не приходила, и жизнь не возвращалась.

Ночью, в крепости, я лежал на ковре и дышал последними крохами ее запаха, вотканного в шерсть. За стеной Рои спал. На площади стоя дышала, тридцать тел, тридцать ртов, тридцать приговоров, ждущих моего слова.

А за воротами, в темноте, Клык спускался по тропе к болотам. Его шаги были тихими и уверенными, и от него пахло решением, горьким и окончательным. На болотах его ждала тень - высокая, статная, красивая, с черными глазами, в которых тлели красные угли.

Тень протянула руку. Длинные тонкие пальцы с серебряными кольцами, красивые и мертвые, как все, что принадлежало этой твари. В пальцах - пузырек. Маленький, стеклянный, с чем-то темным внутри.

- Когда родит, - сказала тень. Голос мягкий, бархатный, обволакивающий, голос, от которого хотелось слушать, хотелось верить, хотелось подчиниться. - Подмени. Ребенка - мне. Чужого - ей. Пусть Вожак увидит, что щенок не его. Пусть сломается окончательно.

Клык взял пузырек. Спрятал в ладони. Его лицо было серым и решительным, лицо человека, который шагнул за черту и не собирается возвращаться.

- Она меняет все, - сказал Клык. Тихо. Для себя. - Целительница. Его пара. Полу-кровка-наследник. Через поколение мы станем людьми. Я прожил триста лет волком. Я умру волком.

Тень улыбнулась. Красиво. Статно. Зубы-иглы блеснули в лунном свете.

И Клык ушел к крепости, унося в кармане конец мира, каким я его знал.

Глава 3. Пять лун

Пять лун. Не месяцев - лун, потому что я считала время по его шагам и по приливам боли, и каждый прилив был полнолунием, когда волчонок внутри меня просыпался и рвался наружу, как рвется зверь из западни, и мое тело было этой западней, и его когти скребли стенки, и мои кости расходились, уступая, и хруст, с которым раздвигались ребра, был похож на хруст весеннего льда, когда река просыпается и ломает все, чторосло за зиму.

Мое тело стало чужим.

Я трогала себя пальцами и не узнавала: живот, огромный, твердый, натянутый до звона, как барабан, на котором можно играть, и волчонок играл, бил в него изнутри лапами, и каждый удар отзывался в позвоночнике, в затылке, в зубах. Бедрараздались, кости таза сдвинулись, и между ног ныло постоянно, тупо и неотвязно, как ноет зуб, в котором оголился нерв. Грудь набухла, налилась, стала тяжелой и болезненной, и соски потемнели и загрибели, и из них сочилось молозиво, желтоватое и липкое, которое пахло сладко и чуждо, потому что мое тело готовилось кормить зверя, и для этого перестраивалось, превращалось во что-то среднее между женщиной и волчицей, в нечто, чему не было названия и от чего хотелось содрать с себя кожу и начать заново.

Кожа на животе натянулась до прозрачности, и я видела пальцами то, что зрячие видели бы глазами: очертания крошечного тела под тонкой пленкой, которая была моей кожей, но перестала ею быть, превратилась в окно, в витрину, в прозрачную стену между мной и им. Лапка - маленькая, с загнутыми коготками, прижатая к стенке живота, и если я клала ладонь поверх, наши пальцы совпадали: мои снаружи, его - внутри. Мордочка - остренькая, с выступающим носом, которым он тыкался в мою ладонь изнутри, как его отец тыкался мне в шею, в колени, в грудь. Хвост - маленький, загнутый, от которого мой живот перекашивало, когда он ворочался во сне.

Мой сын был волком. Целиком, без оговорок, без компромиссов, без той человеческой мягкости, которую я надеялась найти и не нашла. Его кровь - отцовская, горячая, звериная - победила мою, человеческую, разбавленную и тихую, и он рос внутри меня, как растет огонь внутри печи, жадно пожирая все, что ему подкладывают, - мое мясо, мои кости, мою кровь, мою молодость.

Риана приходила по ночам. Протискивалась через расщелину в задней стене, маленькая и сухая, и от нее пахло полынью и мудростью, и ее руки на моем животе были единственным, что приносило облегчение: тепло, травяное и древнее, от которого волчонок затихал, сворачивался клубком и засыпал, и его когти переставали скрести, и я могла дышать, впервые за день, полной грудью, без боли, без хруста, без ощущения, что меня разрывают изнутри.

- Еще две недели, - говорила Риана, и ее голос был ровным и деловитым, как голос ткачихи, считающей ряды. - Может три. Он большой. Слишком большой для тебя. Волчьи щенки рождаются за два часа, человеческие - за двенадцать. Твой будет между. И это будет больно, девочка. Больше всего, что ты знала.

- Больше ямы? - спросила я, и мой голос был хриплым и тонким, как пряжа, вытянутая до предела, которая вот-вот лопнет.

Риана помолчала. Ее руки на моем животе были неподвижны, и ее молчание было ответом: да. Больше ямы. Больше голода и цепей и его молчания. Больше всего.

- Выдержишь, - сказала она наконец. Не вопрос, не надежда - утверждение, железное и спокойное. - Ты выдержала яму. Семь дней без еды и воды, с его щенком в животе, на ледяном камне, в цепях. Выдержала. Роды - это не яма. Роды - это выход. Из ямы выходят слабыми. Из родов - сильными.

Роды. Слово, от которого холодело под ребрами. Я знала, как рожают волчицы - быстро, на шкурах, в окружении стаи, и волчата вываливаются один за другим, мокрые и слепые, и мать перегрызает пуповину зубами, и вылизывает, и они сосут, и все длится часы, не дни. А я - человек. С человеческим тазом, который не создан для волчьего щенка. С человеческой кожей, которая рвется от когтей. С человеческим сердцем, которое может не выдержать.

Я не верила ей. Мое тело, измученное и истощенное, не казалось мне сильным, и мой голос, который пел на утесе сквозь его пальцы, теперь еле поднимался над шепотом, и мои руки, от которых заживали раны, дрожали постоянно, мелко и противно, как дрожат руки стариков.

Но Риана верила. И волчонок верил - толкался, рос, жил, не спрашивая моего разрешения, не интересуясь моей болью, не заботясь о том, выдержит ли глиняный горшок огонь, который в него засунули. Жил - яростно, жадно, по-звериному. Как отец.

Он приходил каждый вечер, и каждый вечер мое тело предавало меня.

Я ненавидела это. Ненавидела свое тело, которое реагировало на его запах раньше, чем голова успевала скомандовать "стоп", которое покрывалось мурашками и наливалось жаром, и между бедер становилось мокро и горячо, стоило мне услышать скрежет камня и почуять смолу и железо. Мое тело не знало о яме. Не помнило "убрать". Не слышало, как Клык тащил меня за волосы. Мое тело помнило другое - его рот на моей шее, его ладонь на моем сердце, его "Майана", произнесенное хрипло и осторожно, как берут в руки что-то, что может разбиться.

Мое тело было душой. Влюбленной, бессовестной душой, которая лежала на его шкуре и вдыхала его запах, и от этого запаха все скручивалось внутри, и грудь наливалась не только молозивом, но и тоской, физической, осязаемой, от которой хотелось выть.

Вчера он вошел, когда я спала. Или думал, что спала - я лежала с закрытыми глазами и ровным дыханием, потому что так было проще, потому что его присутствие при моем сознании было невыносимым, потому что мое тело вело себя непристойно, и проще было притвориться мертвой.

Он поставил миску. Флягу. И сделал то, чего не делал ни разу за три месяца.

Подождал ближе.

Не на три шага, а на один. Я почувствовала его тепло - обжигающее, звериное, от которого волоски на руках встали дыбом. Его запах обрушился на меня в полную силу, неразбавленный расстоянием, густой, как мед, как вино, как все, от чего кружится голова и подгибаются колени. Смола. Железо. Пот. И под всем этим - его, только его, ни на что не похожий, ни с чем не сравнимый, тот, от которого мое тело превращалось в предателя и внутри все сжималось, и расширялось, и пульсировало.

Его рука. Над моим животом. Я чувствовала жар его ладони в сантиметре от кожи - не касался, нет, висел в воздухе, как висит рука над огнем, когда хочешь согреться, но боишься обжечься. Его пальцы дрожали. Я чувствовала вибрацию, тонкую, едва уловимую. Те самые пальцы, которые скребли мою щеку, когда я учила его слову "нежно". Те, которые переплетались с моими, когда волна накрывала нас обоих. Те, которые впивались в мои бедра и оставляли синяки, которые я потом трогала днями.

Эти пальцы висели над моим животом, и волчонок внутри зашевелился, потянулся к отцовской руке, и мой живот сдвинулся, вздулся в сторону его ладони, и его пальцы отдернулись, как от удара.

Тихий звук. Не рык, не хрип - вздох. Рванный, мокрый вздох, от которого у меня сжалось горло. Он вздохнул над моим животом, в котором жил его сын, и этот вздох был сильнее любого удара и нежнее любого поцелуя.

Потом ушел. Быстро, почти бегом. Камень на место. Тишина.

А я лежала с бешено колотящимся сердцем, с мокрыми бедрами, с горящими щеками, и ненавидела себя за каждый удар пульса, за каждую мурашку, за каждую каплю влаги между

ног, потому что этого не должно быть, нельзя, невозможно, он враг, он тюремщик, он тот, кто сказал "убрать", и мое тело не имеет права, не имеет, не имеет...

Имеет. Мое тело имело свое собственное мнение, и это мнение не совпадало с моей головой, и война между ними была страшнее любой войны, которую вела его стая.

Вчера он задержался. На секунду дольше обычного, может две, и эти секунды растянулись в вечность, и я чувствовала его взгляд на себе, тяжелый и горячий, как расплавленный металл, и мое тело отреагировало мгновенно: соски затвердели, по коже побежали мурашки, и волчонок внутри зашевелился, радостно и возбужденно, как будто чувствовал отца, как будто тянулся к нему через мою кожу, через мой живот, через все, что нас разделяло.

Я сжала бедра. Стиснула зубы. Спрятала лицо в шкуру и дышала в мех, пока он не ушел, пока скрежет камня не отрезал его запах, и только тогда разжала бедра и выдохнула, и выдох был похож на стон, и от этого стоны мне стало стыдно так, что обожгло щеки.

Как можно хотеть того, кто бросил тебя в яму? Как можно мокнуть от запаха рук, которые швырнули тебя на камень и сказали "убрать"? Как можно лежать на его шкуре и тосковать по его телу, когда его тело причинило столько боли, что хватит на десять жизней?

Можно. Оказывается - можно. И от этого "можно" хотелось содрать с себя кожу, которая помнила его прикосновения, и вырвать сердце, которое ускорялось от его шагов, и выжечь все, что он оставил во мне, кроме ребенка, потому что ребенок - единственное, что я хотела от него оставить, и единственное, что он дал мне по-настоящему.

Все остальное - забрал.

Я лежала на шкуре и трогала живот, и волчонок толкался, и мое тело болело от беременности и от желания одновременно, и обе боли были невыносимыми, и обе были его, от него, из-за него, и я ненавидела его за обе, и любила за обе, и от этого противоречия сходила с ума медленнее и вернее, чем от голода в яме.

Днем я сидела у станка. Риана принесла его из крепости, рискуя жизнью, потому что станок стоял в ЕГО комнате, в МОЕМ гнезде, среди МОИХ цветов и МОЕГО ковра, и взять его оттуда означало войти в логово Вожака без разрешения, но Риана вошла, и взяла, и принесла, и я ткала, медленно, с перерывами на боль и на рвоту, и мои пальцы бегали по нитям, и ткань росла, и в ней были те же ощущения, что и в первом ковре: его тело, его руки, его шрам, мои губы на его коже.

Я ткала для ребенка. Маленькое одеяло из грубой шерсти, мягкое и теплое, и каждый ряд был молитвой, и каждый узел - обещанием. Я соткала ему мир, в котором будет тепло. Даже если все остальное будет холодным.

Станок пах мной. Резные птички на ножках - мамы. Те самые. Из той жизни, где был свет и был закат, оранжевый, последний. Я гладила птичек пальцами и думала: мама, если ты слышишь, помоги. Я рожаю волка. Я люблю зверя. Я сошла с ума. Помоги.

Мама не отвечала. Но станок скрипел, и нитки ложились, и ткань росла, и это было ответом.

Ночь была тихой. Ветер улегся, и горы молчали, и только капли воды по стенам - тц, тц, тц - отсчитывали время, которого у меня оставалось все меньше. Две недели. Может три. Потом - роды. Потом - щенок. Потом - суд стаи. Потом - смерть? Или жизнь? Или что-то третье, чему нет названия?

Волчонок ворочался. Беспокойно, нервно, не засыпая. Его лапки скребли, его хвостик бил по стенке живота, и его маленькое сердце стучало быстрее обычного, как будто он чувствовал мою тревогу, как чувствовал запах отца, как чувствовал все, что чувствовала я, потому что мы были одним телом, одной кровью, одной болью.

Потом - удар.

Не толчок, не пинок - удар, от которого мой живот перекошило, и боль прострелила от паха до грудины, белая и ослепительная, как молния, и я согнулась пополам, и мои руки обхва-

тили живот, и из горла вырвался крик, тонкий и животный, которого я не контролировала и не могла остановить.

Схватка. Живот скрутило, стянуло, сжало в кулак, и внутри все завязалось узлом, и волчонок забился, испуганно и яростно, и его когти рвали, и его тело билось, и я чувствовала, как что-то внутри поддается, расходится, рвется.

Кровь. Горячая, густая, потекла по бедрам, пропитывая шкуру. Много крови. Слишком много для ложной тревоги. Слишком рано для родов.

Я лежала на боку, скрючившись, прижав колени к животу, и кровь текла, и боль накачивалась волнами, и волчонок внутри затих, как затихает зверь, который понимает, что что-то пошло не так, что-то в его мире сломалось, и от этой внезапной тишины мне стало страшнее, чем от боли.

- Лукас, - прошептала я. Имя, которое дала ему в первую секунду, которое никто не слышал. - Лукас, тише. Мы справимся. Тише.

Мое тепло - целительское, золотое - потекло из ладоней в живот, слабое, едва осязаемое, потому что мое тело было истощено и сил на лечение почти не осталось, но то небольшое, что было, ушло ему, моему волчонку, моему зверю, моему сыну, ради которого я выдержала яму и голод и цепи и камень и молчание.

Кровь замедлилась. Остановилась. Схватка отступила, как волна, оставив после себя тупую, ноющую боль, привычную, как дыхание.

Ложная тревога. На этот раз. Мое тело предупреждало - готовься. Он идет. Твой зверь, твой волчонок, твой Лукас. Он идет, и ему наплевать, готова ты или нет, выдержишь ты или нет, выживешь ты или нет. Он идет, как шел его отец - напролом, без разрешения, без пощады, без слова "нежно".

Яблоко от яблони. Волчонок от волка.

Но кровь была настоящей. И слабость была настоящей. И страх - холодный, липкий, удушающий - был настоящим. И две недели, которые оставались до родов, казались вечностью, которую мое тело могло не пережить.

Я лежала в крови, в его шкуре, с его сыном в животе, и слушала тишину.

И где-то далеко, за камнем, за лесом, за тремя часами горной тропы, он лежал на моем ковре и вдыхал мой запах из шерсти, и его тело помнило мое, как мое помнило его, и мы оба горели на медленном огне, который не гас и не вспыхивал, а тлел, тлел, тлел, пожирая нас изнутри, и ни один из нас не мог его потушить, потому что тушить - значит отпустить, а отпустить - значит умереть.

Пой, Птичка.

Я пела. Тихо, в шкуру, в его запах. Мамину мелодию, которая была единственным мостом между его миром и моим, единственной ниткой, которая не рвалась, сколько ни тяни. Пела, и волчонок затихал, и мои руки гладили живот, и слезы текли в мех, горячие и соленые, и мех впитывал их, как впитывал все, что я ему отдавала: запах, слезы, молоко, кровь, песню.

Пой, Птичка. Две недели. Может три. А потом - все изменится.

К лучшему или к худшему - я не знала.

Но петь не переставала.

Глава 4. Шкура

Я принес ей свою шкуру. Ту самую - черную, густую, пропахшую нами обоими до последнего волоска, ту, которая лежала на ее тюфяке в кухне, когда она была рабыней, и на моей лежанке, когда она стала моей парой, и на нашей кровати, когда она стала моим гнездом. Ту шкуру, в которую она утыкалась лицом и дышала мной, пока я стоял наверху и делал вид, что мне плевать.

Зачем принес - не знаю. Не хочу знать. Если начну думать "зачем", придется признать, что мое тело делает то, что моя голова запрещает, и мои ноги идут туда, куда мой разум не пускает, и мои руки несут то, что мой рассудок отнял бы и сжег. Моя шкура - последний кусок того, что было между нами, последний осколок разбитого мира, и я нес его через лес, три часа по горной тропе, прижав к груди, и мех грел мне кожу, и от него пахло ею, льном и травой, и ее слезами, которые она роняла в мех ночами, когда думала, что я не слышу.

Я слышал все. Каждую ебаную слезу. Каждый всхлип, приглушенный мехом. Каждый стон, когда щенок толкался. Каждый шепот, когда она разговаривала с ним - с моим сыном, с маленьким зверем в ее животе, которого она называла каким-то именем, тихим и нежным, которое я не мог разобрать через камень.

Она разговаривала с ним. Пела ему. Ту самую мамину мелодию, которая сломала мне стены внутри черепа на утесе, когда я был обрубком и она пела сквозь мои пальцы на горле. Ту мелодию, от которой мой волк замирал и скулил, и мои кости размягчались, и мир переставал быть камнем и становился чем-то, чему я не знал названия.

Она пела щенку, и я стоял за камнем и слушал, и от ее голоса, сорванного и хриплого и совсем не того, что был раньше, - от этого голоса у меня текло по щекам, и я вжимал ладони в стену так, что камень крошился, потому что если не вожду - войду, а если войду - упаду перед ней на колени, а если упаду - все рухнет, вся стена, которую я выстроил из "убрать" и "кровь на губах" и "Шаран мертв", вся эта стена, единственное, что держало меня на ногах.

Я не спал неделями. Ложился на ковер в своей комнате - в ее комнате, в нашей комнате, которая до сих пор пахла цветами и шерстью, хотя цветы засохли и превратились в пыль, а шерсть выдохлась и перестала пахнуть ею. Ложился и закрывал глаза, и вместо сна приходили воспоминания - яркие, детальные, безжалостные, как удары ножа.

Ее тело. Я помнил каждый изгиб, каждую впадину, каждый бугорок на ее коже, как картограф помнит карту, которую чертил годами. Ее ключицы - тонкие, острые, по которым мой язык скользил медленно, и она дрожала, и ее пальцы сжимались в моих волосах. Ее ребра - я мог пересчитать их губами, одно за другим, как пересчитывают бусины на четках, только мои четки были из кости и кожи, и каждая бусина стонала, когда я касался. Ее живот - тогда еще плоский, тогда еще мой, без щенка, без натяжения, мягкий, с линией пушковых волос от пупка вниз, по которой мой нос проехался, и она вздрогнула, и ее бедра раздвинулись, и ее запах - тот, глубинный, мокрый, от которого мой разум выключался - ударил мне в ноздри, и я зарычал, и она застонала, и это был лучший дуэт в истории вселенной.

Ее тело под моим. Маленькое, горячее, с разведенными бедрами, с выгнутой спиной, с серебристыми волосами, разметанными по шкурам. Ее стон, когда я входил, - низкий, протяжный, от которого у меня подгибались руки. Ее пальцы на моих плечах, впивающиеся в мышцы, оставляющие борозды, из которых текла кровь, и от этой крови становилось только жарче. Ее рот на моем шраме - мягкий, медленный, целующий каждый миллиметр, от виска до угла губ, и от этого поцелуя мое тело каменело и плавилось одновременно, как будто нутро было лавой, а кожа - коркой, и корка трескалась от ее губ.

Ее голос: "Нежно." Одно слово, от которого мои руки-убийцы превращались в руки-любовников, и пальцы, ломавшие хребты, скользили по ее коже, как по шелку, и от каждого

прикосновения она вздрагивала и тянулась ко мне, как тянется цветок к свету, и я был ее светом, я, тысячелетний зверь с разодранной мордой, был для слепой девчонки закатом, которого она не видела одиннадцать лет.

Эти воспоминания жрали меня заживо. Каждую ночь, каждый час, каждую минуту - ее тело, ее запах, ее голос, ее руки, ее "нежно", и мой член стоял каменным столбом, и я лежал на ковре и ненавидел себя за то, что хочу ее, как в первый день, как в первую ночь, как всегда, и ненависть к себе была единственным, что не давало мне встать и бежать к логову и рвануть камень и ворваться и взять ее, вжать в стену, войти в нее, услышать тот стон, почувствовать те пальцы, утонуть в ее запахе, забыть все, забыть Шарана, забыть кровь, забыть стаю, забыть закон, забыть все, кроме ее тела, в которое я помещался, хотя не должен был, в которое входил целиком, как входит меч в ножны, точно, плотно, навсегда.

Не шел. Не бежал. Не вжимал. Лежал на ковре и грыз собственный кулак, и кровь из разгрызенных костяшек капала на шерсть, на ее шерсть, и даже кровь не перебивала ее запах, впитавшийся в каждую нить.

Утром я охотился. Один. В волчьей форме, черный и огромный, с силой, которая после обращения удвоилась и от которой деревья валились от одного удара лапой. Охотился для нее - выбирал лучшее, жирное, свежее. Горную козу - ее мясо мягче, легче усваивается, больше жира для щенка. Оленя - вырезал печень, теплую и скользкую, завернутую в листья. Рыбу из горного ручья - серебристую, трепещущую, пахнущую ледяной водой и чистотой.

Потом обращался обратно. Сидел у костра. Жарил. Заворачивал в теплые листья, чтобы не остыло за три часа дороги. И шел. Каждый ебаный день. Три часа туда. Три обратно. Шесть часов на бабу, которую стая хотела разорвать и которую я кормил лучшим мясом в горах.

Рои был прав. Убийце не носят мед. Убийце носят нож.

А я нес ей печень горной козы, завернутую в листья, и шкуру, согретую у огня, и флягу с водой из того ручья, где она купалась в первый месяц, где я увидел ее голой и чуть не откусил себе язык.

Ночью я обращался. Бегал по горам до изнеможения, пока лапы не стирались до крови, пока язык не свисал до земли, пока в мышцах не оставалось ничего, кроме тупой, честной усталости, которая хотя бы на час заглушала другую боль. Бежал и выл на пустых вершинах, и мой вой разносился по горам, и где-то внизу, в логове, она слышала его, я знал, и может быть, узнавала, и может быть, ее сердце ускорялось, и может быть, ее тело реагировало так же, как мое на ее голос, - предательски, бессовестно, необратимо.

Однажды, на бегу, я оказался над логовом. Скала, под которой была расщелина. Лег на камень, прижался брюхом. Камень был холодный сверху и теплый снизу - от нее, от ее тела, от огня, который она разводила из веток, что я бросал через щель. Она была подо мной, через два метра камня, и ее тепло просачивалось сквозь скалу, как просачивается вода, медленно и неудержимо, и мой живот впитывал это тепло, и мои лапы раскинулись по камню, и я лежал так, огромный черный волк на скале, прижавшись к камню, через который чувствовал ее, и это было жалко и смешно и невыносимо, и если бы кто-то увидел - Рои, Клык, Фенрир, кто угодно - я бы убил их от стыда. Тысячелетний вожак лежит на камне и греется о тепло бабы, которую стая приговорила к смерти.

Но никто не видел. И я лежал до рассвета.

Сегодня я принес шкуру. Свою. Последнюю.

Отодвинул камень. Вошел. Она сидела у стены, обхватив живот руками, и ее лицо было серым и измученным, и ее волосы свисали грязными прядями, и ее рубаха была порвана и заляпана чем-то темным (кровь? Молозиво?), и она была ужасной, отвратительной, жалкой, и от ее вида у меня скрутило в груди так, что я чуть не согнулся пополам.

Бросил шкуру. На камень, рядом с миской. Развернулся. Пошел к выходу.

- Зачем? - ее голос. Тихий, хриплый. Без мольбы, без злости. Просто вопрос.

Я остановился. Не обернулся.

- Тебе холодно, - сказал я. На человечесем. Коротко. Три слова, каждое из которых было ложью, потому что дело было не в холоде, и мы оба это знали, но правду произнести я не мог, потому что правда была: мне невыносимо думать, что ты мерзнешь, мне невыносимо знать, что мой щенок мерзнет, и мне невыносимо существовать без тебя, и эта шкура - единственное, что я могу дать, не переступив границу, не сломав стену, не упав на колени.

Тишина. Потом - шорох. Она потянулась к шкуре. Взяла. Поднесла к лицу.

И вдохнула.

Я стоял у выхода спиной к ней, и мои ногти впивались в каменный косяк, и мое тело вибрировало от ее вдоха, потому что я знал, что она вдыхает - мой запах, наш запах, запах всего, что было и что я разрушил. Вдыхала долго, медленно, как вдыхают воздух после долгого удушья, как пьют воду после долгой жажды, жадно и отчаянно и с тем звуком, который не стон и не вздох, а что-то между, что-то, от чего мое сердце пропустило удар и мои глаза обожгло.

Потом она заплакала. В шкуру. В мой мех, в мой запах, тихо, почти беззвучно, но я слышал - каждый всхлип, каждую слезу, каждый судорожный вдох, и ее плач был не жалобой и не мольбой, а чем-то другим, глубоким и страшным, как плач ребенка, который зовет мать и знает, что мать не придет.

Она плакала в мою шкуру и звала меня. Не словами - запахом, слезами, тем беззвучным криком, который слышат только звери, только волки, только те, чья кровь связана навечно.

Я вышел. Задвинул камень. Прислонился спиной. Закрыв глаза.

И мой волк внутри выл. Тихо, протяжно, безнадежно. Выл то, что я не мог произнести:пусти меня обратно,пусти, я лягу рядом, я положу руку на живот, я буду греть, я буду рычать колыбельную, я буду тыкаться мордой ей в шею, как тыкался раньше, и ее пальцы найдут мои уши, и она погладит, нежно, как учила, и мир станет целым.

Не выпустил.

Стоял за камнем. Слушал, как она плачет в мою шкуру. И плакал сам - молча, без звука, по-звериному, с ненавистью к слезам, которые текли по шраму и падали на камень, горячие и бесполезные.

Ее плач стих. Шорох - она заворачивалась в шкуру, укутывалась, как укутывается ребенок в одеяло, до подбородка, до носа, до макушки. Прячась в моем запахе, как в крепости, которая надежнее каменной. И я слышал, как ее дыхание замедляется, как ее сердце успокаивается, как волчонок затихает внутри, потому что он чуял отца - через мех, через камень, через расстояние - чуял и успокаивался, потому что для щенка запах отца - это безопасность, даже если отец стоит за стеной и не входит, даже если отец - чудовище, которое бросило его мать в яму.

Для щенка отец - это запах. А мой запах был на шкуре. И она обернула себя и его в этот запах, и они спали в нем, два моих существа, маленькое внутри маленького, завернутые в мой мех, как в объятие, которого я не мог дать.

И это было хуже побоев. Хуже ямы. Хуже всего, что я делал и что делали мне. Потому что побои - это действие, а бездействие - это выбор, и мой выбор был стоять за камнем и слушать, как она засыпает в моем запахе, и не входить, и не ложиться рядом, и не класть руку на живот, и не рычать колыбельную.

Мой выбор был - камень.

Два зверя по разные стороны стены. Оба в клетках. Оба в цепях. Только ее цепи - железные, а мои - из гордости и крови на губах и мертвого брата, которого я любил и которого не уберег.

Утром пришел Рои. Его лицо было серым и напряженным, и от него пахло тревогой, металлической и кислой.

- Болота, Вожак. Движение. Разведчики докладывают - шакалы собираются. Десятки. Больше, чем раньше. И с ними - что-то другое. Не волчье. Не шакалье. Темное. Мертвое.

Ворг. Ебаная тварь с болот. Собирает армию. Готовится. Ждет.

Чего ждет? Моей слабости? Моего безумия? Моего распада, который я демонстрирую каждый день, каждую ночь, каждую секунду, когда бью стены и грызу кулаки и ношу мясо через лес бабе, которую стая хочет казнить?

Конечно, ждет. Ворг всегда ждал. Тысячу лет ждал, пока я ослабну. Тысячу лет плел паутину. Обруч, печать, мертвый волк - все это было его работой, его мстью, его развлечением. И теперь, когда я содрал обруч и вернул волка и стал сильнее, чем был, - теперь он нашел другой способ. Не обруч, не печать. Рыжую суку, которая убила Шарана (или не убила, или подставила, и от этого "или" я...

Хватит. Хватит "или". Хватит.

- Не сейчас, - сказал я Рои. Мой голос был каменным и ровным, и под ним горело все, и Рои видел, и молчал, потому что был верен и умен. - Сначала - щенок. Пусть родится. Потом - Ворг.

Рои кивнул. Ушел. И я остался один, на утесе, с окровавленными кулаками и ее слезами на моей шкуре, которую я отдал ей, потому что не мог дать ничего другого.

Потому что все другое - мои руки, мое тело, мое "прости" - было заперто за стеной, которую я построил сам.

И ключ от которой я выбросил в пропасть.

Или не выбросил. Может быть, он лежит на дне моего кармана, рядом с серебристым волосом, который я нашел на ковре и прижал к губам. Может быть, ключ всегда был при мне. Может быть, стена - не стена, а дверь. И нужно только повернуть.

Но я не поворачивал. Потому что за дверью - она. И если я войду - не выйду. Никогда.

А мне нужно быть снаружи. Мне нужно быть Вожак. Мне нужно убить Ворга и защитить стаю и разобраться с Клыком и выжить и не сдохнуть от тоски по ее запаху.

Мне нужно быть камнем.

А я был мехом. Мягким, густым, пахнущим ею, в который она плакала по ночам.

И от этого противоречия - камень и мех, Вожак и влюбленный зверь, закон и ее голос - от этого мне хотелось сдохнуть.

Но сдохнуть я не мог. Потому что за камнем бились два сердца. И одно из них было моим.

Глава 5. Рождение

Боль началась на закате - я поняла по тому, как изменился воздух за камнем, потеплел и порозовел (я не видела розового, но чувствовала его кожей, как чувствуют слепые все, что зрячие принимают за само собой разумеющееся), и в этот порозовевший воздух вошла боль, тихо и деловито, как входит палач в камеру, - не торопясь, не пугая, просто обозначая свое присутствие.

Утром я доткала одеяло для Лукаса. Последний ряд, последний узел, последняя нить, которую я обрезала зубами, и ткань была готова - маленькая, мягкая, с рисунком из ощущений, который мог прочесть только слепой: тепло отцовской шкуры, мягкость материнских рук, шершавость камня, в котором мы жили, и нежность, которой нас научили друг друга, прежде чем все разрушить. Я завернула одеяло в тряпку и положила под голову, как подушку, как талисман, как молитву.

Первая схватка была мягкой. Обхватила живот, сжала, подержала и отпустила, как будто проверяла - готова ли, выдержишь ли, не сломаешься ли на первом же ударе. Я выдохнула. Положила руки на живот. Волчонок шевельнулся - беспокойно, суетливо, как зверь, который чувствует перемену погоды.

- Тише, - прошептала я. - Тише, Лукас. Мы справимся.

Лукас. Имя, которое я дала ему в первую секунду, когда поняла, что беременна, которое носила в себе, как носила его самого, - тайно, нежно, отчаянно. Имя, которое никто не слышал, потому что говорить его вслух означало сделать реальным, а реальное можно отнять, и я уже знала, как отнимают, - яму, цепи, голод, молчание, "убрать". Лучше тайна. Тайна - это то, что нельзя забрать.

Вторая схватка ударила через полчаса. Жестче. Глубже. Живот скрутило, стянуло, как стягивают мокрую ткань, выжимая воду, и я согнулась пополам, и из горла вырвался стон, длинный и тягучий, и мои пальцы впились в шкуру - его шкуру, которая пахла им и в которую я плакала каждую ночь, и мех вошел под ногти, и боль прошла, как проходит волна, оставив после себя дрожь и мокрый лоб.

Риана появилась через расщелину. Быстрая, деловитая, с мешком трав и чистыми тряпками, и ее руки нашли мой живот и легли на него, и тепло от ее ладоней разлилось по натянутой коже, и волчонок затих на секунду, признав шаманку, которая гладила его через стенку живота каждую ночь.

- Началось, - сказала Риана. Не вопрос. Утверждение. Ее пальцы прощупывали живот, считая что-то, измеряя, определяя. - Головкой вниз. Правильно лежит. Лапки прижаты. Хвост убран. Умный щенок.

Ларита пришла следом - молча, надежно, как приходила всегда. Ее руки - молодые, сильные - подхватили мои плечи, усадили, подложили свернутую шкуру под спину. Три женщины в каменной норе: старая шаманка, молодая рабыня и слепая целительница, рожающая волка.

Третья схватка разорвала мир пополам.

Не мягкая, не проверяющая - настоящая, от которой темнота за глазами взорвалась цветом, ослепительным и жестоким, и мое тело выгнулось, и крик вырвался из горла, и крик этот был не человеческим и не звериным, а тем третьим, нашим, который рождался на границе двух миров, и стены пещеры задрожали от него, и камни посыпались с потолка.

Волчонок рвался наружу. Его когти, крошечные и острые, скребли стенки, и я чувствовала каждый коготь, каждую бороздку, которую он оставлял внутри, и кровь текла, густая и горячая, и между ног разверзлось пламя, и мое тело раскалывалось, как раскалывается скала от корней дерева, которое растет внутри, медленно и неумолимо.

- Дыши, - командовала Риана. Ее руки между моих ног, горячие и жесткие. - Дыши и тужься. Не кричи - тужься. Вся сила - вниз. Вся.

Я тужилась. Всем телом, каждой мышцей, каждым сухожилием, каждой клеткой, которая еще работала в этом измученном, истощенном, пятимесячном кошмаре, который был моей беременностью. Тужилась и кричала, потому что не кричать было невозможно, боль была такой, что если не кричать - лопнет голова, треснет череп, мозг вытечет через уши.

Когти. Его когти рвали мне путь наружу, маленькие и безжалостные, и я чувствовала, как ткани расходятся, как мышцы рвутся, как кровь хлещет, и мое тело было полем битвы, и волчонок побеждал, потому что звери всегда побеждают, потому что звери не знают жалости, даже к тем, кто их носит.

Четвертая схватка. Пятая. Шестая. Слились в одну бесконечную волну боли, в которой не было пауз, не было передышек, только непрерывное давление, непрерывное раскалывание, непрерывный крик, который я уже не контролировала, который выходил из меня, как выходит воздух из проколотого мяча, - со свистом, с хрипом, с бульканьем крови в горле.

Ларита держала мои руки. Сжимала так, что кости хрустели, и я вцеплялась в нее, как в последний канат над пропастью, и ее лицо (которого я не видела) было мокрым от моего пота и ее слез, и она шептала что-то, что-то ласковое и бессмысленное, что шепчут тем, кто умирает, и я не умирала, но была близко, так близко, что чувствовала дыхание смерти на затылке - холодное и равнодушное.

Удар. Изнутри. Не толчок - удар, от которого мое тело подбросило, и мой позвоночник выгнулся дугой, и крик, который вышел, был криком зверя, не женщины, не человека, а зверицы, рожающей в норе, и этот крик пробил камень и унесся по горам, и его слышали в крепости, и его слышали в лесу, и его слышали на болотах.

И его услышал он.

Скрежет. Грохот. Камень, заваливавший вход, отлетел от удара, как пробка из бутылки, и врезался в противоположную стену, и ночной воздух хлынул в логово, и его запах обрушился на меня - смола, железо, пот, страх, ярость, все вперемешку, и его шаги, быстрые, рваные, панические, и он стоял в проеме, огромный, тяжело дышащий, и от него пахло бегом, и горной тропой, и тремя часами, которые он, видимо, преодолел за час.

Он прибежал. На мой крик. Через горы, через лес, через Мертвую полосу, через все, что разделяло его мир и мой. Три часа пути за час. В человеческом теле, без обращения, на двух ногах, по камням и льду, босиком, потому что сапоги - это секунды, а секунды - это ее крик, который он слышал за километры и на который его тело среагировало раньше головы, раньше гордости, раньше стены.

Он прибежал. И от этого "прибежал" мне было больнее, чем от родов, потому что зверь, который бросил меня в яму и сказал "убрать", - этот зверь бежал через горы на мой крик, и его ступни были в крови от камней, и его дыхание рвалось, и его глаза (которых я не видела) были... какими? Золотыми? Черными? Мертвыми? Живыми?

Я не могла думать об этом. Не могла думать ни о чем, кроме боли, которая пожирала меня заживо, и волчонок, который рвался наружу, и крови, которая заливала шкуры, и Рианиных рук между моих ног, которые тянули, и направляли, и принимали.

- Еще, - сказала Риана. - Последний раз. Вся сила. Сейчас.

Я собрала все. Все, что осталось - а осталось мало, горсть углей на дне потухшего костра. Собрала и вложила в один толчок, один крик, одно усилие, от которого мое тело разломилось, как разламывается глиняный горшок, в котором вырос огонь, и из этого разлома, из крови и крика и слез, вышел он.

Мой сын.

Маленький. Горячий. Мокрый. Скользкий от крови и слизи, крошечный и тяжелый одновременно, как камешек, нагретый солнцем, живой и орущий, и его крик был тонким и злым

и требовательным, и от этого крика все остальное исчезло - боль, кровь, стены, камень, ненависть, любовь, яма, "убрать", все, все, все, остался только этот звук, этот голос, этот крик, который был первым словом моего сына, произнесенным в мир, жестокий и холодный, в который он пришел, не спрашивая разрешения.

Риана положила его мне на грудь. Горячий комок, мокрый, с черным пушком на голове, с крохотными кулачками, сжатыми у подбородка, с мордочкой, сморщенной от крика, похожей на сердитую кошку, только кошки не рычат, а он - рычал, тихо, утробно, новорожденным рыком, в котором я услышала отца.

Его рык. Уменьшенный, крошечный, как уменьшенная копия чертежа, но с той же вибрацией, с тем же обертонном, с той же яростью, которая говорила: я здесь, я живой, я злой, я голодный, дайте мне то, что мне положено.

Молоко. Оно пришло мгновенно, как будто ждало за дверью и ворвалось, стоило двери открыться, - горячее, сладкое, обильное, потекло из набухшей груди, и его мордочка нашла сосок слепым, безошибочным инстинктом, который не нужно учить, как не нужно учить сердце стучать. Он присосался. Зачмокал. И замолчал.

Тишина. Тяжелая, мокрая, звенящая тишина, в которой слышно только чмокание и мое дыхание, рваное и хриплое, и мое сердцебиение, бешеное и счастливое, и его сердцебиение, маленькое и быстрое, наконец-то снаружи, наконец-то отдельное, наконец-то свое.

Мои пальцы. На его лице - мордочке, маленькой и горячей, с выступающим носиком, с губами, сомкнутыми вокруг соска, с ушками, крохотными, мягкими, бархатными. На его голове - черный пушок, мягкий, как мех новорожденного щенка. На его ручках - кулачки, в которых поместился бы только мой мизинец, и я вложила его, и его пальцы обхватили, и сжали, и не отпускали.

На его шее. Под ухом. Пятно. Маленькое, рельефное, чуть приподнятое над кожей, теплое, как будто внутри горит крошечная лампа. Полумесяц. Я провела по нему пальцем - и пятно откликнулось, пульснуло теплом, золотым и мягким, и мой палец почувствовал то, что зрячие увидели бы: свечение. Родимое пятно-полумесяц светилося золотом на шее моего новорожденного сына.

Королевская метка. Как у отца.

Его.

Я подняла лицо. К проему, где он стоял, где его запах был самым сильным, самым густым, самым невыносимым. Мимо, как всегда, на два пальца левее. Но он был там. Я чувствовала его - огромного, неподвижного, не дышащего, вцепившегося пальцами в каменный косяк, и от его пальцев сыпалась крошка, и его сердце стучало так, что я слышала его отчетливее, чем маленькое сердце на моей груди.

Рык. Тихий, утробный, произвольный, вышедший из его горла, как выходит стон у раненого. Рык отца, который видит своего сына впервые. Я слышала его - и узнавала: тот же звук, который волчонок издавал минуту назад, когда присосался к груди. Один и тот же рык, в двух глотках, в двух телах, отделенных тремя метрами камня и целой жизнью. Отец и сын, рычащие на одной частоте, не зная друг друга.

Он смотрел. На меня. На своего сына. На метку - полумесяц, светящийся золотом в темноте пещеры. На мое лицо, мокрое от пота и слез. На мою грудь, из которой его сын пил молоко. На мои руки, обхватившие крошечное тело, защищающие, укрывающие, не отдающие.

Тишина между нами была стеной. Толще камня, прочнее железа. Стена из "убрать" и "кровь на губах" и мертвого Шарана и ямы и всего, что мы натворили друг с другом, и по одну сторону стены - я с его сыном, а по другую - он, без нас.

Его рот раскрылся. Я слышала - сухой щелчок губ, разлепившихся после долгого молчания. Он хотел что-то сказать. Слово поднималось из его горла, как камень поднимается со

дна озера, медленно, тяжело, преодолевая сопротивление воды. Но не поднялось. Застряло. Утонуло обратно.

Его запах изменился. В нем появилось что-то, чего я не чувала три месяца: влага. Не пот, не дождь, не горная роса. Соль. Соленая вода на его лице, стекающая по шраму, по щеке, по подбородку, падающая на камень.

Звери не плачут.

Он развернулся и ушел. Без слова. Без звука. Только скрежет камня - тише, чем раньше, осторожнее, как будто он боялся разбудить.

Кого? Сына, который спал на моей груди, причмокивая во сне? Или что-то внутри себя, что еще спало и что он не хотел будить, потому что если проснется - стена рухнет, и он окажется на моей стороне, и вернуться будет невозможно?

Я лежала на шкурах, мокрых от крови и пота, с маленьким горячим зверем на груди, который сосал и спал и дышал мне в ключицу теплым, молочным дыханием, и мое тело болело от родов, и моя душа болела от его ухода, и обе боли были огромными, и обе были его, и я несла их обе, как несла все, что он давал мне, - укусы и поцелуи, синяки и нежность, яму и шкуру, молчание и имя.

Лукас. Маленькая птица, маленький волк, маленький полумесяц на шее, светящийся отцовским золотом.

Я достала одеяло из-под головы. Развернула. Завернула Лукаса - осторожно, медленно, как заворачивают самое драгоценное, что есть на свете. Маленькое тело в тканой колыбели, и мои руки знали каждый изгиб ткани, каждый узел, потому что я ткала это для него, каждый ряд - молитва, каждая нить - обещание. Лукас зачмокал сквозь сон, и его маленький кулачок вылез из одеяла и обхватил мой мизинец, и не отпускал, и я не отпускала, и мы держались друг за друга.

Мой сын. Мое все. Моя причина дышать, петь и выживать.

Я прижала его крепче и закрыла глаза, и мамина мелодия поднялась из грудной клетки, тихая и хриплая, и я пела ему, моему Лукасу, и он спал, и молоко текло, и его маленькое сердце стучало мне в ребра.

Пой, Птичка. Теперь ты поешь для двоих.

Я не знала, что эта ночь - последняя ночь с моим сыном.

Не знала, что к рассвету его заберут.

Не знала, что руки, которые вынут его из моих, будут тихими и бесшумными, и я не услышу, потому что мое тело, обессиленное родами, уйдет в сон, глубокий, как яма, из которой меня когда-то вытащили.

Не знала.

Спала. Счастливая. С Лукасом на груди.

Последняя ночь.

Глава 6. Тень

Утром я шел к логову с мясом и с чем-то, чему не было названия на волчьем и что на человеческом называлось, наверное, надеждой, хотя это слово было мягким и бесполезным и я его ненавидел, как ненавидел все мягкое и бесполезное, но оно сидело в груди, теплое и колючее, как заноза, которую не вытащить и не игнорировать.

Вчера я видел его. Моего сына. Маленького зверя с черным пушком и золотыми глазами и полумесяцем на шее, который светился моим светом, моей кровью, моей меткой. Видел, как она прижимала его к груди и кормила, и ее лицо было спокойным и счастливым, и от этого счастья у меня скрутило в груди так, что я чуть не задохнулся, и мои глаза обожгло, и на моих щеках было мокрое, и я ушел, потому что если бы остался - упал бы на колени и прополз эти три метра, которые разделяли нас, и лег бы рядом, и положил бы руку на ее живот, опустевший и мягкий, и на маленькое тело на ее груди, и мой рык стал бы колыбельной, и ее пальцы нашли бы мои уши, и все вернулось бы, все стало бы как раньше.

Почти.

Потому что Шаран все равно мертв. И кровь на ее губах все равно была. И стоя все равно хотела казни.

Но щенок. Мой щенок. С моей меткой. С моими глазами. С ее молоком на губах.

Я шел по тропе и думал о том, как возьму его на руки. Впервые. Вчера не взял - стоял в дверях и смотрел, как идиот, как ебаное каменное чучело, которое не может переступить через порог и протянуть руки к собственному сыну. Сегодня - возьму. Войду, подойду, возьму. Осторожно, как она учила - не хватай, не дави, не ломай. Нежно. Слово, которое я выучил, как выучивают чужой язык, - с трудом, с ошибками, с акцентом, который никогда не уйдет. Нежно возьму моего сына на руки и буду держать, и его маленькое тело на моих огромных ладонях будет теплым и живым, и он будет пахнуть ею и мной, и молоком и мехом, и это будет лучший запах в моей тысячелетней, проклятой, одинокой жизни.

Я шел и думал, и мое лицо было каменным, а внутри - лава, расплавленная и светящаяся, и мой волк не скулил, а рычал тихо, предвкушающе, и его рык говорил: щенок, мой щенок, наконец-то, наконец.

По дороге я собирал цветы. Горные фиалки, те самые, которые она ставила в горшке в моей комнате, в нашем гнезде, когда мир был целым. Нашел куст у тропы, рвал аккуратно, стараясь не помять, и мои огромные пальцы, привыкшие ломать и крушить, обхватывали тонкие стебли, и я злился на них за неуклюжесть, и злился на себя за то, что рву цветы, и злился на все, что заставляло меня делать вещи, которых я не понимал и от которых болело в горле.

Цветы. Мясо. Шкура. Мед. Я нес ей все это каждый день, и каждый день говорил себе: это для щенка, не для нее. Мясо - чтобы было молоко. Шкура - чтобы щенок не мерз. Мед - для щенка. Цветы - для... для чего цветы? Щенку не нужны цветы. Цветы нужны ей. Ей нужны цветы, потому что она ставила их в нашей комнате, и от них пахло домом, и ее лицо становилось спокойнее, и она улыбалась, и от ее улыбки...

Блядь. Цветы.

Я бросил их у входа. На камень, рядом с миской. Может, найдет. Может, понюхает. Может, поставит в воду. Может, улыбнется. А может, и нет. Какая разница.

Камень. Отодвинул. Вошел.

Она спала. Свернувшись на шкурах, бледная, с темными кругами под мертвыми глазами, измученная родами, истончившаяся до прозрачности. Ее серебристые волосы разметались по меху, грязные и спутанные, и ее дыхание было глубоким и ровным, дыхание человека, который спит впервые за месяцы без боли, без страха, без волчонка, ломающего ребра изнутри.

Рядом с ней - сверток. В одеяле, которое она соткала на станке с мамиными птичками.

Я подошел. Три шага - те самые, граница, которую не пересекал три месяца. Пересек. Опустился на колени. Потянулся к свертку.

Взял.

Маленький. Легкий. Теплый. Завернутый плотно, как заворачивают ценное, и от одеяла пахло ее руками и ее слезами, впитавшимися в каждую нить. Я осторожно отвернул край ткани, обнажая мордочку.

И мир остановился.

Темные глаза. Не золотые - темные, карие, тусклые, человечьи. Они смотрели на меня снизу вверх, мутные и сонные, и в них не было ничего - ни золота, ни свечения, ни звериного блеска, ни той ярости, ни того огня, который горел в моих глазах и который я видел вчера, вчера, блядь, вчера, в глазах маленького зверя на ее груди.

Нет метки. Я рванул ткань с шеи младенца - грубо, одним движением, и маленькое тело дернулось, и рот раскрылся в крике, тонком и жалком, и я смотрел на шею, гладкую, чистую, без пятна, без полумесяца, без моего знака, без моей крови.

Нет пушка. Голова - гладкая, с редкими темными волосками, не черным густым мехом, который я видел вчера, который трогал бы сегодня, если бы...

Чужой.

Ребенок в моих руках был чужим. Не моим. Не волком. Человечьим выродком, подложенным вместо моего сына, как подкладывают фальшивую монету вместо золотой, и ты не замечаешь, пока не попробуешь на зуб, и вкус - железный, горький, мерзкий.

Мой мозг работал быстро. Слишком быстро - обгоняя сердце, обгоняя волка, обгоняя все, что могло бы остановить, подождать, подумать. Мозг выстраивал цепочку, и цепочка была простой и ядовитой, как змеиный укус:

Она трахалась с кем-то. В горах, на побегу, или раньше, в крепости, когда я думал, что она моя. Трахалась, и щенок не мой, и золотые глаза вчера - показалось, или свет, или мое безумие, которое видит то, что хочет видеть. Метка - показалось. Свечение - показалось. Все показалось, потому что я хотел, чтобы было мое, хотел так отчаянно, что мой мозг нарисовал золотые глаза на темных, метку на гладкой коже, мех на лысой голове.

Я поверил тому, что хотел увидеть. Как верил ей - ее сердцу, ее рукам, ее "нежно". Верил, потому что хотел. А правда была здесь, в моих руках, - маленький чужой ребенок с темными глазами и без метки.

Она шлюха.

Слово ударило в голову, как молот по наковальне, и от него посыпались искры, и мое зрение сузилось до красной точки, и мои руки сжались, и младенец закричал от давления, и я ослабил хватку, потому что даже в ярости, даже в безумии, даже на дне черного колодца, в который я падал, - даже там я не мог сжать, потому что это ребенок, пусть чужой, пусть не мой, пусть...

Ебанный мир. Ебаная жизнь. Ебаная вселенная, которая берет все, что у меня есть, и ломает, и подсовывает фальшивку, и смеется, и ждет, когда я сломаюсь.

Кровь. В горло поднялась кровь - моя собственная, из прокушенной щеки, горькая и железная. Я прокусил себе щеку изнутри, чтобы не заорать, чтобы не разбудить ее, чтобы не схватить ее за горло и не спросить - кто? кто, блядь, кто трогал тебя, кто был в тебе, кто посмел, кто посмел, КТО ПОСМЕЛ?

Мое. Мое тело. Моя кожа. Мои укусы на ее шее. Мой запах на ее коже. Мои синяки на ее бедрах. Все мое - помеченное, покусанное, пропахшее, и кто-то залез в мое, и оставил в моем свое, и теперь это свое лежит в моих руках и смотрит на меня чужими темными глазами.

Я стоял с чужим ребенком в руках, и мое тело раскачивалось, как раскачивается дерево перед тем как упасть, и в голове стучало, и в глазах темнело, и младенец кричал, и его крик

был тонким и человечьим, без рыка, без вибрации, без того звериного обертона, который я слышал вчера, который узнал бы среди тысячи, который был моим.

Вчера - мой. Сегодня - чужой. Как? Как это возможно? Мозг искал объяснение и находил только одно: не было вчера. Было безумие. Было желание увидеть свое в чужом. Была галлюцинация одинокого зверя, который три месяца спит на ковре, пропитанном ее запахом, и грызет кулаки до крови, и скулит по ночам, и сходит с ума медленнее и вернее, чем от яда.

Я положил ребенка на камень. Встал. Мои ноги были ватными, мои руки тряслись, и в голове гудело, как гудит колокол, в который ударили слишком сильно, и звук не прекращался, и стены качались, и пол уходил из-под ног.

Она спала. Ее лицо было спокойным - тем спокойствием, которое бывает только после родов, после главной битвы, после того, как тело сделало невозможное и заслужило покой. Ее губы были приоткрыты, и на них - засохшее молоко, и ее грудь поднималась и опускалась ровно, и ее рука лежала на том месте, где минуту назад лежал ребенок, ее пальцы все еще сжимали невидимую маленькую руку.

Красивая. Даже сейчас - измученная, бледная, грязная, с кругами под глазами и запекшейся кровью на бедрах, она была красивой, и от этой красоты меня выворачивало наизнанку, потому что красивая и шлюха - это сочетание, от которого хочется разнести мир.

Мой кулак вошел в стену.

Камень разлетелся. Брызги гранита хлестнули по лицу, и боль в костяшках прошила руку до плеча, яркая и чистая, единственное, что сейчас было настоящим и понятным, и я ударил еще раз, и еще, и стена трещала и крошилась, и грохот заполнил логово.

Она проснулась. Рывком, с вскриком, ее руки метнулись к тому месту, где лежал ребенок, нашли пустоту, нашли камень, нашли одеяло без тела, и ее лицо перекосилось, и ее рот раскрылся:

- Где он? Где мой...

Увидела меня. Нет - почуяла, услышала, потому что видеть она не могла, но ее тело вернулось ко мне, и ее мертвые глаза уставились в мою сторону, мимо, на два пальца левее, как всегда.

Но на этот раз мне показалось, что она видит. Видит мое лицо - каменное, мертвое, с окровавленными губами и налитыми кровью глазами. Видит мои кулаки, разбитые о стену. Видит то, что идет.

- Грим, - прошептала она, и в ее голосе был не страх и не мольба, а узнавание. Она узнавала это состояние. Помнила. Кровь на губах, мертвый Шаран, "убрать". Она помнила, и ее тело помнило, и оно сжалось, свернулось, обхватило живот - пустой, опавший, но все равно обхватило, рефлексом, инстинктом матери, которая защищает даже то, чего уже нет.

Я развернулся к ней. И мои глаза были не золотыми.

Черными. Мертвыми. Как в тот день, когда Ворг произнес Слова. Как в тот день, когда мой волк умер на дне черепа. Как в каждый день моей тысячетлетней жизни, когда мир забирал у меня то, во что я верил.

Только сейчас волк не умер. Сейчас волк выл, где-то глубоко, за слоями ярости и боли, выл: нет, нет, нет, не она, подмена, подстава, не верь глазам, верь сердцу, ты ведь знаешь, ты знаешь, ТЫ ЗНАЕШЬ...

Я не слышал волка. Я слышал только кровь. Свою. В висках. Оглушающую, как барабанная дробь перед казнью.

- Чей? - спросил я. И мой голос был не голосом, а скрежетом ножа по камню.

Ее лицо. Непонимание. Настоящее, незамутненное, от которого волк внутри взвыл громче, но я задавил его, вбил обратно, потому что непонимание можно подделать, и слепые глаза можно подделать, и "нежно" можно подделать, и все, все, все можно подделать, и доверять нельзя ничему, кроме крови.

А кровь говорила: темные глаза. Нет метки. Не мой.

- Чей ребенок? - повторил я, и каждое слово было осколком стекла, который я жевал и сплевывал, и от каждого осколка мой рот наполнялся кровью.

- Твой! - крикнула она, и в ее крике было все, что она чувствовала, - ужас, боль, непонимание, и ее руки метались по камню, ища ребенка, ища доказательство, ища то, что забрали. - Это твой сын! Золотые глаза! Метка! Ты видел вчера! Ты видел!

- Я вижу сегодня, - сказал я. - Темные глаза. Нет метки. Не мой.

Тишина. Ее руки нашли ребенка на камне. Подхватили. Прижали к груди. Ее пальцы метнулись к шейке - нащупали, ощупали, провели по гладкой коже. Замерли.

Нет метки.

Ее лицо изменилось. Не страх - ужас, сырой и первобытный, от которого бледнеют не щеки, а кости. Она ощупывала ребенка - лихорадочно, быстро, пальцы по голове (нет пушка), по ушам (другая форма), по ручкам (другие пальцы), и с каждым прикосновением ее лицо белело сильнее, и ее дыхание ускорялось, и ее сердце колотилось так, что я слышал его через три метра.

- Это не мой ребенок, - прошептала она. И ее голос был мертвым. - Это не Лукас. Кто-то... кто-то забрал его. Кто-то подменил. Грим, послушай, кто-то ночью...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.